



КНИГА ПЕРВАЯ

Афинянин. Бог или кто из людей, чужестранцы, был ⁶²⁴ виновником вашего законодательства?

Клиний. Бог, чужестранец, бог, говоря по сущей правде. У нас это Зевс, у лакедемонян же, откуда Мегилл,—я полагаю, они назовут Аполлона. Не так ли?

Мегилл. Да.

Афинянин. Неужели ты утверждаешь согласно Гомеру, в что Минос каждые девять лет отправлялся для бесед к своему отцу и, сообразно его откровениям, устанавливал законы для ваших государств? ¹

Клиний. У нас, в самом деле, рассказывают это, а также и то, что брат Миноса, Радаманф—конечно, вам знакомо это ⁶²⁵ имя—был в высшей степени справедлив ². О нем мы, критяне, сказали бы, что он по праву заслужил эту похвалу своим тогдашним правосудием.

Афинянин. Прекрасная слава, вполне подобающая сыну Зевса. Так как вы оба, ты и Мегилл, воспитаны в нравах, обусловленных законами, то я надеюсь, что мы не без удовольствия совершим наш путь, беседуя о государственном устройстве ^в и о законах. Во всяком случае, дорога из Кноса к гроту и святилищу Зевса, как мы слышали, достаточно длинна, и по пути встречаются, вероятно, тенистые места под высокими деревьями, где можно будет отдохнуть от нынешнего зноя. Нам, в наши лета, подобало бы часто делать передышки в подобных местах и таким образом без труда совершить весь путь, ободряя речами друг друга.

Клиний. К тому же, чужестранец, когда мы немного пройдем вперед, нам встретятся в рощах удивительно высокие и красивые кипарисы, а также и луга, где мы сможем передохнуть и побеседовать.

Афинянин. Ты прав.

Клиний. Да, но когда мы их увидим, мы признаем это еще более. Однако, отправимся в добрый час!

2

Афинянин. Да будет так! Скажи мне, с какою целью закон установил у вас сисситии, гимнасии³ и ваш род вооружения?

Клиний. Я думаю, чужестранец, всякий легко поймет наши установления. Ведь вы видите природу местности всего Крита: это не равнина, как Фессалия. Поэтому-то фессалийцы более пользуются конями, мы же—пешими бегами. Неровность местности является, с своей стороны, более подходящей и для упражнения в пешеходных бегах; из-за нее же оружие, по необходимости, должно быть легким, чтобы не обременять при беге. Лук и стрелы, по своей легкости, кажутся подходящими. Все это у нас приспособлено к войне, и законодатель, по моему мнению, установил все, принимая в соображение именно войну; так он ввел сисситии, имея в виду, как мне кажется, что в походах сами обстоятельства вынуждают всех иметь все это время общий стол ради своей собственной осторожности. Он заметил, я думаю, неразумие большинства людей, не понимающих, что у всех, в течение жизни, идет непрерывная война со всеми государствами. Если же на войне, ради осторожности, следует иметь общий стол и следует, чтобы стражами⁴ были какие-нибудь начальники и их подчиненные, хорошо упорядоченные, то именно так надо поступать и в мирное время. Ибо то, что большинство людей называют миром, есть только имя; на деле же существует, от природы, вечная непримиримая война между всеми государствами. Став на эту точку зрения, ты, пожалуй, найдешь, что критский законодатель установил все наши общественные и частные учреждения, имея в виду войну; он заповедал охранять законы именно согласно с этим,

т. е. никакое достояние, никакое обыкновение⁵, вообще в ничто не принесет пользы, если только не будет победы на войне. Ибо все блага побежденных достаются победителю.

3

Афинянин. Мне кажется, чужестранец, ты прекрасно подготовлен, чтобы постигнуть критские законы. Но раз'ясни мне еще вот что: из данного тобою определения благоустроенного государства вытекает, насколько я могу судить, что государство надо устроить так, чтобы оно побеждало на войне остальные государства. Не так ли?

Клиний. Конечно. Я думаю, и Мегилл такого же мнения.

Мегилл. Как же иначе, мой друг, мог бы ответить любой лакедемонянин?

Афинянин. Но это положение, верное для государств в их отношениях друг к другу, не может ли оказаться иным в применении к взаимным отношениям поселков?

Клиний. Никоим образом.

Афинянин. Значит, оно одинаково верно?

Клиний. Да.

Афинянин. Что же? Оно одинаково и в отношении к отношениям одного дома в поселке к другим и одного человека к другому?

Клиний. Одинаково.

Афинянин. Должен ли думать каждый человек, что он сам себе враг, или нет? Что сказать на это?

Клиний. Афинский чужестранец—я не хотел бы назвать тебя аттическим, так как, мне кажется, ты достоин быть назван скорее по имени богини⁶—ты сделал яснее нашу беседу, возведя ее снова к ее началу. Таким образом легче сможешь ты открыть правильность нашего нынешнего утверждения, что все находятся в войне со всеми как в общественной, так и в частной жизни, и каждый с самим собою.

Афинянин. Что ты разумеешь, удивительный ты человек?

Клиний. И здесь тоже, чужестранец, победа над самим собою есть первая и наилучшая из побед. Быть же побежден-

ным самим собою всего постыднее и хуже. Это и показывает, что в каждом из нас есть война с самим с собою.

Афинянин. Давайте, снова изменим течение нашей беседы. Так как каждый из нас либо сильнее самого себя, либо слабее, то станем ли мы утверждать то же и по отношению к домам, поселкам, государствам, или нет?

627 Клиний. Ты говоришь, что одни из них сильнее самих себя, другие слабее?

Афинянин. Да.

Клиний. Ты правильно поставил вопрос, ибо это вполне и ничуть не менее приложимо и к государствам. О том государстве, где лучшие побеждают толпу и худших, правильно было бы сказать, что оно одерживает победу над самим собою и в высшей степени справедливо заслуживает прославления за эту победу, в обратном случае—противоположное.

В Афинянин. Однако, оставим в стороне вопрос, может ли худшее оказаться сильнее лучшего. Ведь это требует более обстоятельного рассмотрения. Теперь я понимаю высказанную тобою мысль: если несправедливые граждане, об'единенные между собою родством, происходящие из одного и того же государства, сойдутся в большом количестве с целью насильно поработить не столь многочисленных справедливых граждан; если они одержат над теми верх, то правильно можно было бы сказать, что подобное государство побеждено самим собою и что оно, вместе с тем, дурно. Наоборот, где несправедливые терпят поражение, там государство сильнее и лучше.

С Клиний. Только что высказанная мысль очень необычна, чужестранец; тем не менее, совершенно необходимо согласиться с нею.

4

Афинянин. Конечно. Обсудим и следующее: может родиться много братьев, сыновей от одного и того же отца и матери; однако не будет ничего удивительного, если большинство из них окажется несправедливыми, и лишь меньшинство—справедливыми.

Клиний. Ничего удивительного в этом нет.

Афинянин. Ни мне, ни вам не подобало бы гнаться за тем, чтобы всякий дом и всякая семья, где дурные одерживают верх, называлась побежденной со стороны себя самой, в противном же случае—победившей. Ведь не ради благообразия или неблагообразия названий ведем мы наше нынешнее обсуждение применительно к уровню развития большинства людей, но мы рассуждаем о том, что по природе правильно, и что ошибочно в законах. D

Клиний. Ты совершенно прав, чужестранец.

Мегилл. Прекрасно. Я также присоединяюсь ко всему только что сказанному.

Афинянин. Рассмотрим еще вот что: не может ли оказаться кто-либо судьей над только что упомянутыми братьями?

Клиний. Конечно, может.

Афинянин. Какой же судья будет лучше, тот ли, который погубит дурных из них и постановит, чтобы хорошие властвовали сами над собою, или тот, кто заставит достойных властвовать, худших же, оставив им жизнь, заставит добровольно повиноваться? Представим еще третьего, по отношению к добродетели, судью, который был бы таким, что, приняв подобную, терзаемую раздорами, семью, никого бы не погубил, но примирил бы их, установил бы на будущее время законы для их взаимных отношений и мог бы следить, чтобы они были друзьями. E 623

Клиний. Подобный судья и законодатель был бы несравненно лучше.

Афинянин. Между тем он, давая им законы, имел бы в виду не войну, а как раз обратное.

Клиний. Это правда.

Афинянин. А благоустроитель государства? Станет ли он устраивать государственную жизнь, обращая более внимания на внешнюю войну, чем на внутреннюю, называемую междоусобием? Междоусобия случаются время от времени в государствах, хотя всякий очень хотел бы, чтобы их вовсе не было, или, раз уж они возникли в его государстве, то чтобы они как можно скорее прекратились. B

Клиний. Очевидно, устроитель государства будет более иметь в виду именно междоусобия.

Афинянин. Что предпочтет всякий: то ли, чтобы в случае междоусобия мир был достигнут путем гибели одних и победы других, или же, чтобы дружба и мир возникли вследствие примирения, и чтобы все внимание было, таким образом, неизбежно обращено на внешних врагов?

С Клиний. Всякому хотелось бы, чтобы с его государством случилось последнее, а не первое.

Афинянин. Не так ли и законодателю?

Клиний. Как же иначе?

Афинянин. Не правда ли, всякий стал бы устанавливать все узаконения ради наилучшей цели?

Клиний. Без сомнения.

Афинянин. А самое лучшее — это ни война, ни междоусобия: ужасно, если возникает в них нужда, но взаимный мир и дружелюбие. Также и победа государства над самим собой относится, конечно, не к области наилучшего, но к области необходимого. Это все равно, как если бы кто стал считать наилучшим состоянием тела такое, когда ему достанется в удел врачебное очищение от болезни, и не обратил бы внимание на такое тело, которое вовсе и не нуждается ни в чем подобном. Точно так же не может стать надлежащим государственным человеком тот, кто, имея в виду благосостояние как всего государства, так и отдельных лиц, будет обращать внимание, прежде всего и единственно, на внешние войны. И законодателем он не окажется тщательным, если только не станет
D
E устанавливать законы, касающиеся войны, ради мира, а не законы, касающиеся мира, ради военных действий.

5

Клиний. Кажется, чужестранец, это рассуждение правильно. Однако, я удивляюсь, что наши, а также лакедемонские узаконения установлены со всяким тщанием вовсе не ради этого.

629 Афинянин. Весьма возможно. Но теперь не время нам сурово оспаривать их. Нам должно спокойно задавать им вопросы, так как и мы, и они относимся к этому с величайшей серьезностью. Примите вместе со мной участие в обсуждении.

Возьмем сперва Тиртея, афинянина родом, но приобретшего права гражданства в Лакедемоне¹. Ведь он из всех людей с особенным рвением относится к войне, говоря: „Ни во что не считал бы и не помянул бы я мужа“, даже если бы он был самым богатым из людей и обладал многими благами — здесь поэт перечисляет чуть ли ни все блага — если только он не окажется всегда выдающимся в военном деле. Эти стихотворения, конечно, слышал и ты, Клиний, Мегилл же, я думаю, прямо-таки насыщен ими.

Мегилл. Конечно.

Клиний. Да и к нам-то они перешли из Лакедемона.

Афинянин. Давайте же теперь все сообща спросим этого поэта как-нибудь так: о Тиртей, божественнейший поэт! Ты кажешься нам мудрым и благим за то, что ты отличным образом прославляешь отличившихся на войне. Мы—я, Мегилл и этот вот кносиец Клиний — вполне согласны, повидимому, с тобой в этом. Но нам хочется яснее узнать, говорим ли мы об одних и тех же лицах, что и ты, или нет. Итак, скажи нам: не правда ли, и ты, как мы, ясно различаешь два рода войны? Или ты смотришь иначе? На это, я думаю, даже тот, кто гораздо ничтожнее Тиртея, ответит правду, т. е., что есть два рода войны. Первый род, который мы все называем междоусобием, — самый трудный из всех войн, как мы только что сказали. Второй же род—я думаю, все мы это признаем — это война с внешними иноплеменными врагами; этот род гораздо безобиднее первого.

Клиний. Без сомнения.

Афинянин. Скажи-ка, каких людей и какой род войны имел ты в виду, столь превознося, прославляя одних и порицая других? Повидимому, ты разумел внешнюю войну. По крайней мере, ты сказал в своих стихотворениях, что ты не выносишь тех, кто не отваживается „взирать на кровавое дело и не стремится с врагом в бой рукопашный вступить“. Разве мы не в праве после этого утверждать, что и ты, Тиртей, повидимому, всего более прославляешь отличившихся в войне с иноплеменниками происшедшей извне. Пожалуй, он признается в этом и согласится с нами.

Клиний. Конечно.

630 Афинянин. Такие люди прекрасны, но гораздо лучше, добавим мы, те, кто отличился во втором, величайшем виде войны. В свидетельство мы можем привести поэта Феогида, гражданина сицилийских Мегар⁸, который говорит: „Злата ценнее, о Кирн, серебра бесконечно дороже тот, кто верным пребыл в междоусобной войне“. Мы утверждаем, что подобный человек во время более тяжелой войны несравненно лучше первого, чуть ли ни настолько, насколько справедливость, здравомыслие и разумность, вместе с мужеством пришедшие к единству, лучше отдельно взятого мужества. Ибо во время междоусобий никогда нельзя стать верным и непоколебимым, не обладая всей в совокупности добродетелью. Между тем, многие из наемников — большая их часть, за редчайшими исключениями, люди смелые, но несправедливые, наглые и чуть ли ни самые неразумные из всех — готовы бодро идти сражаться и даже умереть в той войне, о которой говорит Тиртей.

С Но какова теперь цель этого нашего рассуждения, и что мы этим хотим разяснить? Очевидно, то, что и здешний, критский, поставленный Зевсом, законодатель устанавливал свои законы, более всего имея в виду не что иное, как величайшую добродетель, так же, как и всякий, хоть мало-мальски годный, законодатель. Эта-то величайшая добродетель и заключается, по словам Феогида, в сохранении верности во время тяжелых обстоятельств; ее можно назвать совершенной справедливостью. А та добродетель, которую всего более прославляет Тиртей, хотя и прекрасна и к стати приукрашена поэтом, однако, е
D всего правильнее было бы поставить, в смысле ее силы и ценности, лишь на четвертом месте.

6

Клиний. Чужестранец, неужели мы поместим нашего законодателя среди второстепенных законодателей?

Афинянин. Не его, дорогой мой, но нас самих, если мы полагаем, будто Ликург и Минос установили все лакедемонские и здешние законы, имея в виду преимущественно войну.

Клиний. Но что же мы должны утверждать?

Афинянин. То, что, по моему мнению, истинно и справедливо утверждать, беседуя о божественном государственном строе, т.-е., что законодатель, устанавливая законы, имел в виду не одну часть добродетели, притом самую незначительную, но всю в совокупности добродетель; он, сообразно с ее видами, исследовал законы, однако не так, как это делают нынешние законодатели, выдвигающие вперед это видовое различие. Ведь теперь каждый исследует и устанавливает то, в чем у него в данное время нужда: один — законы о наследовании и дочерях-наследницах⁹, другой — об оскорблениях действием, третий — что-либо иное подобное, и так до бесконечности. Мы же утверждаем, что правильный путь исследования законов есть тот, на который вступили мы. Я в высшей степени восхищен твоей попыткой истолкования законов. Ибо правильно начать именно с добродетели и утверждать, что ради нее-то и установил законодатель свои законы. Что же касается твоих слов, будто он законодательствовал, сообразуясь лишь с частью добродетели и притом с чрезвычайно незначительной частью, это показалось мне неправильным, и из-за этого-то я и предпринял все это дальнейшее рассуждение. Хочешь ли, я скажу тебе, каким именно образом желательно было бы мне, чтобы ты повел и разрешил нашу беседу?

Клиний. Охотно, чужестранец.

Афинянин. Надо было бы сказать так: критские законы, чужестранец, не даром чрезвычайно славятся среди всех эллинов. Они правильны, так как делают счастливыми тех, кто ими пользуется, предоставляя им все блага. Есть два рода благ: одни человеческие, другие — божественные. Первые зависят от божественных. И если какое-либо государство получает большие блага, оно приобретает и меньшие, в противном случае лишается и тех, и других. Меньшие блага — те, во главе которых стоит здоровье, затем красота, в третьих, сила в беге и в остальных, движениях производимых телом, в четвертых, богатство, но не слепое, а зоркое, т. е. идущее вслед за разумностью. Первое же и главенствующее из божественных благ — разумность; второе — вместе с разумом здравомыслящее состояние души. Из их смешения с мужеством возникает третье благо — справедливость; четвертое благо — мужество. Эти все

Д блага, по природе, стоят впереди тех, и законодателю тоже следует поставить их именно так. Затем надлежит убедить своих граждан, что все остальные предписания имеют в виду именно это, т. е. земные блага—божественные, а божественные все имеют в виду руководящий разум. Законодателю следует позаботиться о браках, взаимно соединяющих людей, после этого о рождении детей и воспитании как мужского, так и женского пола, от малых лет до зрелых и вплоть до старости. Он станет воздействовать на них правильными почетными поощрениями или же лишением почета, заботясь о людях во всех их взаимных отношениях, надзирая за всеми их скорбями, наслаждениями, всяческими страстными стремлениями, предостерегая их надлежащими порицаниями или похвалами через посредство самих законов. Равным образом,—о гневе, страхе; о тех душевных потрясениях, что происходят от несчастий или от счастья, о том, как отвратить их; о всех состояниях, которые бывают с людьми во время болезней, войны, бедности и при противоположных обстоятельствах—обо всем этом законодателю следует наставить граждан и определить, что хорошо и что дурно в душевном состоянии человека при каждом отдельном случае. После этого законодателю необходимо стоять на страже достоинства граждан и их расходов: каким образом последние совершаются; на страже всех добровольных и недобровольных сообществ и их расторжения: насколько при этом выполняются взятые на себя взаимные обязательства. Законодатель должен надзирать, где осуществляется справедливость, а где нет; он должен установить почести тем, кто послушен законам, а на ослушников налагать установленные наказания, и так до тех пор, пока он не дойдет до конца всего государственного устройства и не увидит, каким образом должно в каждом отдельном случае погребать умерших и какие уделять им почести. Обозрев все это, законодатель поставит над всем этим стражей, из которых одни будут руководствоваться разумностью, другие—истинным представлением, так, чтобы разум, связующий все это, явил следствия здравомыслия и справедливости, а не богатства и честолюбия. Мне, чужестранцы, раньше, да и сейчас, желательно было, чтобы вы именно так разобрали, каким образом все это находится в так называемых Зевсовых и

Пифийского Аполлона законах, установленных Миносом и Ликургом, и каким путем все это получает известную стройность, что для человека, сведущего в законах, благодаря ли искусству, или путем какого-либо навыка, вполне очевидно, а нам всем остальным далеко не ясно.

Клиний. Как же должно излагать дальнейшее, чужестранец?

7

Афинянин. Мне думается, нам надо опять исходить от начала, как мы и начали, и прежде всего разобрать обыкновения, касающиеся мужества. Затем, если хотите, мы перейдем к другому виду добродетели, затем к третьему. Способ, которым мы станем разбирать первый вид добродетели, возьмем за образец и при его помощи попытаемся истолковать остальные виды, доставляя себе тем самым утешение в пути. Под конец же, если богу угодно, мы покажем, как все то, что мы теперь разобрали, относится ко всей совокупности добродетели.

Мегилл. Прекрасно сказано; прежде всего попытайтесь привлечь к суду Клиния, этого у нас восхвалителя Зевса.

Афинянин. Попробую, а равным образом тебя и себя самого. Ведь наше обсуждение общее. Итак, скажите, утверждаем ли мы, что сисситии и гимнасии законодатель изобрел для войны?

Мегилл. Да.

Афинянин. Что же еще третье и четвертое? Ведь для обозначения частей остальной добродетели — впрочем, их можно называть и как-либо иначе, лишь бы был ясен смысл — нам, пожалуй, понадобится подобное перечисление.

Мегилл. Третьим я лично, да и любой лакедемонянин назвал бы охоту.

Афинянин. Попробуем, если только сможем, указать, что является четвертым и пятым.

Мегилл. Я попытался бы поставить на четвертом месте то, что у нас часто бывает при рукопашной борьбе и при некоторых похищениях, сопровождающихся всякий раз большими побоями; это развивает выносливость в перенесении боли. Кроме того, и так называемая криптия¹⁰ чудесно воспитывает

С подобную выносливость. Сюда относится и хождение зимой босиком, спанье без постелей, обслуживание самого себя без помощи слуг, скитание ночью и днем по всей стране. Также представляется случай проявить чрезвычайную выносливость на наших гимназиях¹¹, где приходится преодолевать силу зноя, да и очень многое другое, что перечислять было бы, пожалуй, бесконечно долго.

Афинянин. Ты говоришь хорошо, лакедемонский чужестранец. Но скажи мне, что будем мы считать мужеством? Только ли, попросту, борьбу со страхом и скорбью, или же и D борьбу с тоской, с наслаждениями, с какими-нибудь сильными обольстительными соблазнами, которые делают мягкими, точно воск, души даже и тех людей, что считают себя почтенными.

Мегилл. Я думаю, что борьбу именно со всем этим.

Афинянин. Припомним же предшествующие рассуждения. Клиний утверждал, что и государство и отдельный человек могут быть побеждены самим собою. Не так ли, кносийский чужестранец?

Клиний. Разумеется.

E Афинянин. Теперь, кого мы назовем дурным: того ли, кто побежден скорбями, или скорее и того, кто побежден наслаждениями?

Клиний. Мне кажется, последнего. Ведь все мы признаём, что тот, над кем властвуют наслаждения, побежден самим собою, и притом несравненно более постыдным образом, чем тот, кем владеет скорбь.

634 Афинянин. Неужели же Зевсов и Пифийский законодатель своими законами требовали хромого мужества, могущего оказывать сопротивление только налево, а направо, по отношению к лакомому и обольстительному, бессильного? Или они требовали и того, и другого?

Клиний. И того, и другого, по моему мнению.

Афинянин. Не показать ли нам теперь, какие именно учреждения в обоих ваших государствах, хотя и позволяют вкушать наслаждения и не избегать их, как не избегнешь и скорби, однако, умеряют их, принуждая и убеждая, при помощи B наград, властвовать над ними? Где именно в законах содержатся те же постановления о наслаждениях, что и об огорчениях?

Пусть будет указано, что делает у вас одних и тех же людей одинаково мужественными как по отношению к боли, так и по отношению к наслаждениям, и заставляет их побеждать то, что следует побеждать, и ничуть не подчиняться самым близким и трудным врагам.

Мегилл. Пожалуй, чужестранец, мне не удастся указать на крупные и явные виды законов, касающихся наслаждений, так, как я это мог сделать, имея много законов, противопоставленных боли. Но, быть может, я смогу указать на кое-какие мелкие узаконения подобного рода.

Клиний. Точно так же и я вряд ли смогу указать на что-либо подобное в критских законах.

Афинянин. В этом нет ничего удивительного, лучшие из чужестранцев. Однако, не станем раздражаться, но отнесемся мягко друг к другу, если кто из нас, желая отыскать истину и высшее благо, подвергнет порицанию что-либо в законах своей родины.

Клиний. Ты прав, афинский чужестранец; следует тебя послушаться.

Афинянин. К тому же это не подошло бы и к нашим летам, Клиний.

Клиний. Конечно, нет.

Афинянин. Надо было бы особо исследовать, правильно ли порицают государственный строй Лакедемона и Крита, или же нет. А то, что говорит об этом толпа, я смог бы высказать и, пожалуй, в большей мере, чем вы. Ведь у вас,—хотя, вообще, ваши законы составлены надлежащим образом,—в особенности превосходит один закон, запрещающий молодым людям исследовать, что в законах хорошо, и что нет, и повелевающий всем соглашаться единогласно и едиными устами, что все в законах хорошо, так как они установлены богами; если же кто станет утверждать иное, то этого вовсе нельзя допускать. Если у вас что-либо подобное придет в голову какому-нибудь человеку старому, он может высказать свои соображения перед должностным лицом или перед человеком своих лет, но только не в присутствии юноши.

Клиний. Ты совершенно прав, чужестранец; точно прорицатель, ты, мне кажется, достаточно разгадал тогдашнее наме-

рение законодателя—хотя ты и не был там—и верно его выразил.

Афинянин. Не правда ли, мы ничуть не погрешим против этого правила, если сами с собой; наедине, станем рассуждать именно об этом? Ведь законодатель позволил это людям нашего престарелого возраста, да к тому же здесь и нет молодых людей.

Клиний. Это правда. Поэтому без колебания укажи на слабые стороны наших законов. Ведь нет ничего бесчестного в познании чего-либо нехорошего; наоборот, случается, что это служит к исцелению, если принимается благосклонно и без зависти.

8

Афинянин. Прекрасно. Однако, я не стану порицать ваши законы, прежде чем, по мере сил, не рассмотрю их основательно. Я только выскажу свои недоумения.

Ведь только у вас одних из всех эллинов и известных нам варваров законодатель постановил воздерживаться от величайших наслаждений и развлечений и не отведывать их. Относительно же скорби и страха он полагал именно так, как мы только что разобрали: если человеку, с малолетства совершенно избегавшему их, придется столкнуться с неизбежными трудами, страхом, скорбью, то он будет обращен в бегство и поработен людьми, уже искусившимися в них. Я полагаю, то же самое должен был думать тот же самый законодатель и о наслаждениях. Он должен был так говорить сам себе: если граждане у нас с малолетства будут несведущи в величайших наслаждениях, не станут упражняться в преодолении наслаждений, так чтобы сладостное стремление к наслаждениям не могло побудить их к совершению каких-либо позорных поступков, то с гражданами случится то же самое, что и с теми, кто уступает страху. Иным, но еще более постыдным образом, подчинятся они рабски тем, кто умеет господствовать над наслаждениями и приобрел необходимые для этого навыки, несмотря на то, что иной раз это люди совсем дурные. Душа граждан станет отчасти рабской и лишь отчасти свободной: они не достойны будут называться людьми вообще мужественными и свободными.

Итак, обсудите, одобряете ли вы, до известной степени, что-либо из только что сказанного?

Клиний. Твои соображения казались нам убедительными, Е пока ты их излагал. Однако, в столь важных вопросах поверить тебе так-таки сразу было бы свойственно скорее неразумным юношам.

Афинянин. Если мы станем, Клиний и лакедемонский чужестранец, после этого разбирать в том же порядке, какой мы предложили раньше, т. е., если после мужества мы станем говорить о здравомыслии, то какую разницу заметим мы между этими государствами и теми, что управляются кое-как? Подобную разницу относительно войны мы только что заметили между ними.

Мегилл. Это не так-то легко. Пожалуй, сисситии и гимнасии установлены прекрасно для обеих этих добродетелей. 636

Афинянин. Повидимому, чужестранцы, трудно в вопросах государственного устройства установить что-либо одинаково и на деле и на словах, что не встретило бы возражений. Это, кажется, подобно тому, как и для одного человеческого тела невозможно установить один какой-либо образ жизни, который не оказался бы отчасти вредным для нашего тела, отчасти полезным, хотя он и один и тот же. Точно так же и эти гимнасии и сисситии во многом приносят пользу государствам еще и поныне; однако, в смысле междоусобий они вредны. Это явствует из поступков милетской, беотийской и фурийской молодежи¹². К тому же, вероятно, эти учреждения извратили не только среди людей, но даже и среди животных, древний и сообразный с природой закон, касающийся любовных наслаждений. И в этом можно винить, прежде всего, ваши государства, а также и те из остальных государств, где более всего привились гимнасии. Как бы ни смотреть на подобные вещи, шутливо ли, или серьезно, приходится заметить, что соединению мужской природы с женской, влекущему за собой рождение, наслаждение это уделено от природы, а соединение мужчины с женщиной и женщины с женщиной—противоестественно и возникло, как отважная попытка под влиянием безудержности в наслаждениях. Мы все порицаем критян за то, что они выдумали миф о Ганимеде¹³. Так как они были убеждены, D

что их законы происходят от Зевса, они и присочинили этот миф против Зевса, чтобы, вслед за богом, пользоваться и этим наслаждением. Однако, распостимся с этим мифом. Когда люди рассматривают вопросы о законах, почти все рассмотрение вращается вокруг наслаждений и скорби как в государствах, так и в частном быту. Природа предоставила течь этим двум потокам. Кто черпает, откуда надо, когда надо и сколько надо, то счастливый одинаково как государство, так и частный человек и всякое живое существо; но кто это делает, не будучи сведущим, да к тому же и не во время, тому придется вести противоположный образ жизни.

9

Мегилл. Это высказано, чужестранец, до известной степени прекрасно, но вместе с тем нас охватила какая-то безглагольность. Что можно сказать на это? Мне все-таки кажется правильным, что лакедемонский законодатель повелевает избегать наслаждений. Что же касается кносийских законов, то пусть придет им на помощь Клиний, если ему угодно. Мне кажется, спартанские постановления относительно наслаждений лучшие в мире. Ибо наш закон изгоняет из пределов нашей страны то, под влиянием чего люди больше всего поддаются величайшим наслаждениям, наглостям и всяческому неразумию. Ни в селениях, ни в городах, о которых пекутся спартиаты, ты не увидишь нигде пиршеств с их последствиями, сильно побуждающими ко всяким наслаждениям, и каждый, кто встретит подгулявшего пьяного, сейчас же налагает на него величайшее наказание; его не отпустят под предлогом Дионисических празднеств. А у вас видел я как-то повозки с подвыпившими гуляками, да и в Таранте у наших высленцев видел я весь город пьяным во время Дионисий¹⁴. У нас ничего подобного не бывает.

Афинянин. Все это и тому подобное, лакедемонский чужестранец, достойно похвалы, если только сопровождается известным самообладанием; где же царит распущенность, там это более нелепо. Впрочем, любой афинянин мог бы легко задеть тебя, указав на распущенность ваших женщин. Все это как в Таранте, так и у нас, у вас может быть раз-

решено, как кажется, одним ответом, именно: это не плохо, а правильно. Удивленному же чужестранцу, видящему необычайное для себя зрелище, всякий может ответить: Не удивляйся, чужестранец! Таков у нас закон; у вас, быть может, есть иной закон, но о том же самом. У нас теперь, дорогие друзья, D речь идет не об остальных людях, но о добродетели и недостатках самих законодателей. Поэтому разберемся подробнее в вопросе об опьянении. Ведь это обычай немаловажный и требует для своего распознавания недюжинного законодателя. Я не говорю о том, надо ли вообще пить вино, или нет, но только об опьянении: надо ли его допускать в том виде, как это делают скифы, персы, карфагеняне, кельты, иберы, фракийцы—все это племена воинственные—или же так, как оно существует у вас. Вы, как ты говоришь, совсем от этого обычая E воздерживаетесь, скифы же и фракийцы употребляют совершенно несмешанное вино как сами, так и их жены; они проливают его на свои одежды и считают этот обычай хорошим и счастливым. Персы широко пользуются этим обычаем, как вообще и остальную роскошь, которую вы отвергаете, но не так бесчинно, как те.

Мегилл. Дорогой мой, мы обращаем в бегство всех их, 638 лишь только берем оружие в руки.

Афинянин. Друг мой, не говори так! Ведь сплошь и рядом причины бегства и преследования остаются, да и будут оставаться, невыясненными. Поэтому не стоит ссылаться на победу или поражение в сражениях, точно они служат ясным, а не сомнительным, показателем обычаев хороших и плохих. Ведь большие государства побеждают в сражениях и поработают меньшие, как, например, сиракусы локров,—несмотря на то, что последние сльвут за обладающих наилучшими в тех местах законами; афиняне—кеосцев ¹⁵; можно было бы найти тысячи таких примеров. Поэтому при нашем обсуждении отложим в сторону победы и поражения и попытаемся говорить о каждом обычае самом по себе, чтобы убедиться, что одно хорошо, а другое плохо. Однако, прежде всего выслушайте несколько слов, как, по моему мнению, надо рассматривать, что хорошо, а что нет, в этих обычаях. B

Мегилл. Что ты разумеешь?

Афинянин. Мне кажется, все, кто готовы сразу, лишь только при обсуждении услышат упоминание о каком-либо обычае, порицать его или хвалить, поступают совершенно не так, как надо. Это все равно, как если кто-либо, лишь только при нем похвалили бы пшеничный хлеб¹⁶, как хорошую еду, стал бы сейчас же ругать хлеб, не допытываясь ни о производимом им действии, ни об его употреблении, не зная каким образом, кому, с какой другой пищей и при каком состоянии надо его употреблять. Так же точно, кажется мне, поступаем мы теперь в наших рассуждениях. Услышав лишь упоминание об опьянении, одни тотчас стали его порицать, другие—хвалить; все это совершенно неуместно. Каждый из нас пытался восхвалить свой взгляд при помощи свидетелей и хвалителей. Одни из нас, опираясь на большинство, полагали, что высказывают господствующее мнение; другие основывались на том, что мы видим, как побеждают в сражениях те, кто не употребляет вина. Однако, в свою очередь, и это у нас осталось невыясненным. Если мы и каждое из остальных узаконений будем разбирать так, то, по моему, это будет неразумно. Я хочу говорить о том же самом, т. е. об опьянении, но иным образом, который мне кажется надлежащим. Я попытаюсь, не смогу ли я выяснить для нас правильный способ исследования всех подобных вопросов. К тому же по этому поводу сотни и тысячи племен находятся в разногласии с вашими двумя государствами и могли бы, пожалуй, словесно сразиться с вами.

Мегилл. Конечно, если есть какой-либо правильный путь для рассмотрения подобных вопросов, не надо медлить с их 689 обсуждением.

Афинянин. Давайте рассмотрим это следующим образом: если бы кто стал хвалить разведение коз и самое это животное, как прекрасное приобретение, а другой, увидя, как козы без пастуха пасутся на обработанной земле и причиняют там вред, стал их ругать, а равным образом стал порицать всякое другое живое существо, не имеющее над собой начальника, или имеющего, но плохого, то, скажи, признаем ли мы порицание подобного человека хоть сколько-нибудь здравым?

Мегилл. Конечно, нет.

Афинянин. Можем ли мы считать начальника корабля пригодным, если он обладает только знанием морского дела, но еще неизвестно, подвержен ли он морской болезни, или нет? Что сказать на это?

Мегилл. Никким образом нельзя считать пригодным, если он обладает, кроме своего искусства, еще и тою слабостью, о которой ты говоришь.

Афинянин. А начальник войска? Способен ли он начальствовать, если обладает только знанием военного дела, хотя был бы трусом и при опасностях страдал головокружением, под влиянием опьянения страхом?

Мегилл. Как можно!

Афинянин. Но если бы он не обладал искусством и был бы, к тому же, трусом?

Мегилл. Ты говоришь о каком-то совершенно негодном человеке, начальнике вовсе не над мужчинами, а над какими-то бабами.

Афинянин. Что же, если кто хвалит или порицает какое-либо сообщество, которое, по своей природе, должно иметь начальника и при этом условии является полезным, не видел никогда правильной постановки общения внутри этого сообщества, т. е. с начальником во главе, но всегда видел его или в состоянии безначалия, или же с дурными начальниками? Признаем ли мы дельным похвалу или порицание со стороны подобных зрителей этих сообществ?

Мегилл. Как можно! Ведь они никогда не видели ни одного из этих сообществ в надлежащем осуществлении и не стояли близко к ним.

Афинянин. Так имей это в виду! Не признаем ли мы пирующих совместно и самые эти пиршества за один из видов этих многочисленных сообществ?

Мегилл. Вполне признаем.

Афинянин. Но разве кто видел когда надлежащее осуществление этих пиршеств? Вам-то легко ответить, что, конечно, никто и никогда. Вам они чужды, у вас они не узаконены. Но я бывал часто на многих пиршествах, к тому же наводил, так сказать, справки о всех них; и даже я никогда не видел и

не слышал, чтобы всякий пир, весь целиком, прошел как следует, разве лишь только в малой и незначительной своей части. В большинстве же случаев все совершается, так сказать, превратно.

Клиний. Что ты этим хочешь сказать, чужестранец? Выразись яснее! Ведь мы, как ты и говоришь, даже если нам случится быть на пиру, вряд ли сможем, пожалуй, в виду нашей неопытности в этом отношении, сразу распознать, что происходит на них надлежащим образом, а что нет.

Афинянин. То, что ты говоришь, естественно. Но попробуй понять это с помощью моих указаний. Ты понимаешь, что на всяких сходках, во всяких обществах, какова бы ни была их цель, должен быть надлежащий начальник?

Клиний. Как же иначе?

Афинянин. Мы сейчас сказали, что начальник над воинами должен быть мужествен.

Клиний. Конечно.

Афинянин. Мужественный человек менее труса станет тревожиться под влиянием страхов.

Клиний. И это так.

Афинянин. Если было бы какое средство поставить во главе войска полководца, совершенно неподверженного страху и смятению, неужели мы всячески не постарались бы сделать этого?

Клиний. Конечно, сделали бы.

Афинянин. Теперь же у нас речь не о начальнике войска, место которого на войне, при враждебных столкновениях людей, но о начальнике дружелюбия, при будущих мирных взаимоотношениях друзей.

Клиний. Верно.

Афинянин. Подобного рода общение, в особенности если там будет опьянение, пройдет не без шума и смятения. Не так ли?

Клиний. Разумеется, так!

Афинянин. Стало быть, и здесь, прежде всего, не правда ли, должен быть начальник?

Клиний. Еще бы, больше, чем где бы то ни было!

Афинянин. Не должно ли, если это возможно, поставить таким начальником человека, чуждого смятению?

Клиний. А как же иначе?

Афинянин. И, очевидно, он должен разумно относиться к подобным собраниям. Ведь ему надо быть на страже присущей им дружбы, а еще более должен он заботиться, чтобы дружба поддерживалась этим общением и на будущее время.

Клиний. Совершенно верно.

Афинянин. Не правда ли, должно ставить начальником над нетрезвыми человека трезвого, мудрого, а не наоборот. Ведь если над нетрезвым будет поставлен нетрезвый, юный, немудрый начальник, он только благодаря исключительно счастливой случайности не наделает великих бед.

Клиний. Да, это было бы в высшей степени счастливой случайностью.

Афинянин. Если бы эти общения происходили в государствах должным, по мере сил, образом, а кто-либо стал порицать их, т. е. самое это дело, то, быть может, его порицание было бы более обосновано. Если же ругают это обыкновенное, взирая на полнейшее его извращение, то отсюда явствует, что, во-первых, не признают неправильности его совершения, а во-вторых, что все оказывается скверным, если происходит подобным образом, т. е. без господина и трезвого начальника. Разве ты не замечаешь, что пьяный кормчий, вообще нетрезвый начальник над чем бы то ни было, разрушает все: и корабли, и колесницы, и войско,—все, чем он управляет.

11

Клиний. Твое указание совершенно верно, чужестранец. Скажи нам далее, что хорошего принесет нам законное и надлежащее совершение пиров? Так, например, как мы сейчас указали, войско, пользующееся надлежащим руководством, дает тем, кто за ним следует, победу на войне, а это не малое благо. Точно так же и в остальных случаях. Ну, а правильно поставленные пиршества,—что великого дадут они частным лицам или государствам?

Афинянин. Что великого, спросили бы мы, принесет государству один правильно поставленный ребенок или хор? На подобный вопрос мы ответили бы: от одного-то государ-

ство получило бы малую пользу. Но если ты спрашиваешь вообще, какая выгода государству от воспитанности воспитанных, то нетрудно ответить, что благовоспитанные дети легко станут хорошими людьми и, став такими, смогут прекрасно совершать все остальное, в том числе и побеждать врагов в битвах. Воспитание ведет и к победе, победа же иной раз к невоспитанности. Ведь многие, обнаглев под влиянием одержанных на войне побед, преисполнились, из-за этой наглости, множеством других пороков. Воспитание никогда не оказывалось Кадмовским, победы же зачастую для людей оказывались такими, да и впредь будут¹⁷.

Д Клиний. Кажется нам, друг мой, ты утверждаешь, будто совместное времяпрепровождение, когда люди предаются вину, имеет большое отношение к воспитанию, если только при этом все совершается надлежащим образом.

Афинянин. Так что же?

Клиний. А сможешь ли ты, затем, доказать правильность твоего утверждения?

Афинянин. Доказать, чужестранец, что поистине это обстоит так, мог бы, в виду сомнений большинства людей, только бог. Но я охотно укажу, почему, мне кажется, надо утверждать именно так. К тому же мы ведь вступили в настоящее время на путь обсуждения законов и государственного устройства.

Клиний. Именно это-то твое мнение по вопросу, вызывающему теперь так много сомнений, мы и хотели бы усвоить.

Афинянин. Нам надлежит поступить так. Вы постарайтесь усвоить, а я попробую так или иначе раз'яснить свою мысль. Сперва послушайте вот что: все эллины считают, что наше государство любословно и многословно, Лакедемон краткословен, на Крите же развивают скорее многомыслие, чем многословие¹⁸. Я боюсь, как бы вы не подумали, что я о малом предмете говорю много, распространяясь в бесконечно долгих рассуждениях о столь маловажной вещи, как опьянение. Однако, при обсуждении было бы невозможно достаточно ясно охватить вопрос о сообразном с природой исправлении пиршеств, если не принять во внимание правильных основ мусического искусства¹⁹. Равным образом и мусическое искусство

нельзя понять без всего в совокупности воспитания. А все это требует чрезвычайно длинных рассуждений. Обсудите же, как нам поступить: не оставить ли пока этот вопрос и не перейти ли к рассмотрению какого-либо другого закона?

Мегилл. Афинский чужестранец! Ты, быть может, не знаешь, что наш домашний очаг связан проксенией с вашим государством. Пожалуй, и во всех, кто с детства слышит о том, что он является проксеном²⁰ такого-то государства, вкореняется с малолетства то чувство благорасположения к этому государству, как к своей второй родине, какое испытываем мы, афинские проксены. По крайней мере, я испытываю это. Ведь я с детства, если слышал, как лакедемоняне за что-либо порицали или хвалили афинян, говоря: „Вот какое скверное по отношению к нам—или прекрасное—деяние свершило ваше, Мегилл, государство“²¹,—я постоянно спорил, защищая вас, с людьми, порицающими ваше государство. Я всегда был расположен к афинянам, мне и посейчас приятны звуки вашего говора; мне кажется, вполне правильно утверждение многих, что хорошие афиняне по преимуществу хороши. Ибо только их добродетель возникает без принуждения, сама собою; божество уделяет им ее, так что в ней поистине нет ничего искусственного. Поэтому, не бойся препятствий с моей стороны; выскажи все, что тебе дорого.

Клиний. Точно так же, чужестранец, прими и выслушай мое слово, а затем смело говори, что хочешь. Быть может, ты слышал здесь, на Крите, об Эпимениде, этом божественном муже²². Он был наш свояк²³. За десять лет до Персидских войн прибыл он в Афины и принес там, согласно прорицанию бога, некоторые предписанные богом жертвы. Как раз в то время афиняне опасались персидского нашествия. Он им предсказал, что персы придут не раньше, чем через десять лет, а когда придут, то будут отражены, вовсе не осуществив своих надежд и потерпев бедствий больше, чем причинив их. С тех пор наши предки заключили с вами союз гостеприимства; отсюда и вытекает мое личное к вам расположение, а также и моих родителей.

Афинянин. Вы, как я вижу, готовы меня слушать. С моей же стороны есть желание говорить, но исполнить его не так-то

легко; однако попробуем. Прежде всего, сообразно с ходом нашего рассуждения, определим, что такое воспитание и какова его сила. Ведь мы согласились, что впредь в нашем рассуждении надо идти именно по этому пути, пока он не приведет нас к богу вина.

Клиний. Конечно, поступим так, если только ты не имеешь ничего против.

в Афинянин. В то время как я буду раз'яснять, что надо разуметь под образованием, вы смотрите, согласны ли вы с моими взглядами.

Клиний. Только бы ты говорил!

12

Афинянин. Я говорю и утверждаю, что человек, намеревающийся стать в чем-либо выдающимся, должен с малолетства упражняться, то в виде забавы, то всерьез, во всем, что к этому с относится. Например, кто хочет стать хорошим земледельцем или домостроителем, тот еще в играх должен: первый—обрабатывать землю, второй—возводить какие-нибудь детские постройки. Их воспитатель должен каждому из них дать малые орудия, представляющие воспроизведения настоящих. Точно так же пусть он сообщит им начатки знаний, которые для них необходимы, например: строителя пусть он научит измерять и пользоваться правилом, воина—ездить верхом, и так далее, все это путем игры. Пусть он пытается, при помощи этих игр, направить d вкусы и склонности детей к тому занятию, в котором они должны достичь впоследствии совершенства. Самым важным в образовании мы признаем надлежащее воспитание, вносящее в душу играющего ребенка любовь к тому, в чем он, выросши, должен сделаться совершенным знатоком своего дела. Обсудите же, одобряете ли вы все до сих пор высказанное?

Клиний. Вполне.

Афинянин. Не оставим также без определения того, что мы подразумеваем под образованием. Ведь теперь, порицая или хваля воспитание отдельных лиц, мы называем одних из нас образованными, а других нет, причем иной раз прилагаем это обозначение и к людям, вся образованность которых заклю-

чается в умении вести мелкую торговлю, или крупную на море, и в тому подобном. В нашем же нынешнем рассуждении мы, очевидно, подразумеваем под образованием не это, а то, что ведет с детства к добродетели, заставляет человека страстно желать и стремиться стать совершенным гражданином, умеющим справедливо подчиняться или же начальствовать. Только это, кажется мне, можно признать образованием, в виду данного в нашей беседе определения воспитания. Образование же, имеющее своим предметом и целью деньги, какую-либо власть, или какую иную мудрость, лишенную разума и справедливости, низко и неблагородно, да и вовсе недостойно называться образованием. Мы не станем спорить сами с собой о названиях. Пусть только остается в силе наше нынешнее рассуждение, в котором мы согласились, что люди, получившие правильное образование становятся, пожалуй, хорошими, и что вовсе не должно низко ставить образованность, ибо она есть первое из наипрекраснейшего, имеющегося у наилучших людей. Если же образование сойдет с верного пути, а его можно направить, то всякий, по мере сил, в течение целой жизни, должен это делать.

Клиний. Верно. Мы согласны с твоими словами.

Афинянин. Мы согласились раньше, что те, кто могут господствовать над собою, хороши, а кто нет, дурны.

Клиний. Ты вполне прав.

Афинянин. Давайте, повторим яснее, что мы тогда сказали. Разрешите мне, при помощи уподобления, раз'яснить вам это положение, если только это в моих силах.

Клиний. Пожалуйста.

13

Афинянин. Не признаём ли мы, что каждый из нас един?

Клиний. Да.

Афинянин. Но каждый имеет в себе двух противоположных и безрасудных советчиков: наслаждение и скорбь.

Клиний. Так оно и есть.

Афинянин. К ним присоединяются еще представления о будущем, общее название которых надежда. В частности, ожидание скорби называется страхом, ожидание наслаждения—

отвагой. Над всем этим рассудок, взвешивающий, что из них лучше, что хуже; он-то, став общим установлением государства, получает название закона.

Клиний. Хотя я с трудом могу следовать за тобой, все-таки продолжай, как если бы я вполне следовал.

Мегилл. То же самое испытываю и я.

Афинянин. Об этом мы станем размышлять так: представим себе, что каждый из нас, живых существ, является куклой богов, сделанной ими либо как их игрушка, либо для какой-нибудь серьезной цели²⁴; ведь это нам неизвестно. Но мы знаем, что вышеупомянутые наши состояния, точно какие-то находящиеся внутри шнуры или нити, тянут и влекут нас, каждое в свою сторону, и, так как они противоположны, увлекают к противоположным действиям, что и служит разграничением добродетели и порока. Согласно нашему рассуждению, каждый должен постоянно следовать только одному из влечений, ни в чем от него не отклоняться и оказывать противодействие остальным нитям, а это есть золотое и священное руководство рассудка, называемое общим законом государства. Остальные нити—железные и грубые; только эта нить нежна, хотя и золотая, остальные же подобны различным видам. Следует постоянно помогать прекраснейшему руководству закона. Ибо рассудок, будучи прекрасен, кроток и чужд насилия, нуждается в помощниках при своем руководстве, так, чтобы в нас золотой род побеждал остальные роды. Этот миф о том, что мы куклы, способствовал бы сохранению добродетели; как-то яснее стало бы значение выражения „быть сильнее или слабее самого себя“. А государство и отдельный человек—ведь этот последний принял бы за истину слово об этих руководящих нитях и счел бы нужным жить сообразно ему; государство же, приняв это слово от богов или же от познавшего это человека, сделает его законом как для своих внутренних отношений, так и при сношениях с остальными государствами. Таким образом, порок и добродетель будут у нас яснее разграничены. Когда это станет более наглядным, то и образование и остальные обыкновения станут, пожалуй, яснее, в том числе и вопрос о том, стоит ли проводить время, предаваясь вину. Раньше показалось, что по поводу столь незначительного предмета сказано было

слишком много слов; теперь же, быть может, окажется, что этот, вопрос не совсем уже недостоин этих длинных рассуждений.

Клиний. Прекрасно сказано. Доведем наше рассуждение до его достойного конца.

14

Афинянин. Итак, скажи: если мы предоставим подобной дукле опьяняться, что мы с ней сделаем?

Клиний. Что ты имеешь в виду при таком вопросе?

Афинянин. Ничего, кроме следующего: что случится, если одно вступит в соединение с другим? Попытаюсь еще яснее выразить свою мысль. Я спрашиваю следующее: не делает ли питье вина более сильными наслаждения, скорбь, гнев, любовь?

Клиний. Даже очень.

Афинянин. А наши ощущения, память, представления, мысли? Становятся ли они точно так же сильнее, или же человек, предающийся чрезмерному пьянству, совершенно лишается их?

Клиний. Совершенно лишается.

Афинянин. Не правда ли, такой человек возвращается к тому состоянию души, какое ему было свойственно в младенчестве?

Клиний. Да.

Афинянин. В подобные моменты он всего менее может владеть самим собою.

Клиний. Всего менее.

646

Афинянин. Но разве не скверен в высшей степени, скажем мы, подобный человек?

Клиний. Без сомнения.

Афинянин. Так что, повидимому, не одни только старики снова впадают в детство²⁵, но также и люди опьяневшие?

Клиний. Ты верно заметил, чужестранец.

Афинянин. Есть ли какое доказательство, убеждающее нас, что надо отведать этого обычая, а не избегать его по возможности изо всех сил.

Клиний. Повидимому, есть. По крайней мере, ты теперь в утверждал это и готов был даже доказать.

Афинянин. Ты верно напомнил. Я готов и сейчас это сделать; ведь вы оба выразили живое желание меня слушать.

Клиний. Как же нам не желать слушать? Если уже не ради чего-либо иного, так ради удивительного и странного утверждения, будто следует человеку добровольно впасть в совершенно негодное состояние.

Афинянин. Ты разумеешь состояние души, не так ли?

Клиний. Да.

Афинянин. Ну, а тело, друг мой? Удивимся ли мы, если кто по доброй воле опускается до негодности, худобы, срама, бессилия?

Клиний. Как не удивиться!

Афинянин. Так что же? Станем ли мы думать, будто те, кто обращаются в лечебницы, не знают, что прием лекарств через короткое время делает их тело на много дней таким, что они согласились бы умереть, если бы им предстояло до конца дней своих пребывать в подобном состоянии. И, как нам известно, те, кто занимается тяжелыми гимнастическими упражнениями, становятся сперва точно больными.

Клиний. Мы это всё знаем.

Афинянин. А также и то, что они добровольно идут на это ради последующей пользы?

Клиний. Конечно.

Афинянин. Но разве не надо и об остальных обычаях мыслить таким же образом?

Клиний. Да, надо.

Афинянин. В том числе и относительно того времяпрепровождения, когда люди предаются вину, если мы только правильно рассмотрели приведенные примеры.

Клиний. Без сомнения.

Афинянин. Итак, если окажется, что вино, по своей пользе, стоит ничуть не ниже телесных упражнений, то оно имеет перед ними еще и то преимущество, что они в начале сопряжены с болью, а оно нет.

Клиний. В этом-то ты прав; но я был бы удивлен, если бы мы смогли усмотреть в нем какую-либо пользу.

Афинянин. Вот это-то мы теперь и должны попытаться раз'яснить. Скажи мне, не два ли чуть ли не противоположных вида страха можем мы мыслить?

Клиний. Какие именно?

Афинянин. Следующие: мы боимся зол, ожидаемых нами.

Клиний. Да.

Афинянин. Боимся же мы нередко и общественного мнения, как бы нас не сочли за дурных людей, если мы совершаем или говорим что-либо нехорошее. Этот вид страха мы— 647 да, думаю, и все—называем стыдом.

Клиний. Без сомнения.

Афинянин. Вот о каких двух видах страха я говорил. Из них один противоположен боли и остальным страхам; равным образом он противоположен и большинству величайших наслаждений.

Клиний. Ты совершенно прав.

Афинянин. Неужели же законодатель—да и всякий хоть сколько-нибудь полезный человек—не станет в высшей степени благоговейно почитать этот вид страха? И назвав его совестью, не обозначит ли противоположную ей отвагу как бессовестность, что он сочтет за величайшее зло для всех как в частной, так и в общественной жизни?

Клиний. Ты прав.

Афинянин. Не правда ли, ничто—если только мы станем сравнивать что-либо отдельно взятое—не доставляет нам столько великих преимуществ, в том числе победу и спасение на войне, как именно этот вид страха. Ведь есть две причины победы: отвага перед неприятелем и страх злого стыда перед друзьями.

Клиний. Это так.

Афинянин. Следовательно, каждый из нас должен стать и бесстрашным и, вместе с тем, подверженным страху. Мы уже с разобрали, почему это так.

Клиний. Да, вполне.

Афинянин. Желая сделать каждого человека бесстрашным, мы этого достигнем тем путем, что будем, согласно с законом, ставить его лицом к лицу со множеством различных страхов.

Клиний. Очевидно.

Афинянин. Что же, если мы хотим вселить в кого-либо справедливый страх? Разве не станем мы сталкивать его с бес-

Д стыдством для того, чтобы он наупражнялся побеждать свои наслаждения? А кто хочет достичь совершенства в мужестве, не должен ли бороться с присущей ему трусостью и не должен ли победить ее? Ведь тот, кто не упражнялся и неопытен в подобной борьбе—все равно, кто бы он ни был—не станет по отношению к добродетели и на половину тем, чем он должен был бы стать. Кто же может стать вполне здравомыслящим, тот ли, кто борется со множеством наслаждений и страстей, увлекающих к бесстыдным, несправедливым поступкам, и побеждает их разумом, действием и искусством как во время развлечений, так и при серьезных занятиях, или же тот, кто вовсе не подвержен всему этому?

Клиний. Последнее было бы маловероятно.

15

Е Афинянин. Так что же? Дал ли некий бог людям зелье, возбуждающее страх, так что, чем больше кто станет его пить, тем несчастнее станет он себя считать с каждым глотком. Он будет страшиться и настоящего, и всего своего будущего, так что даже самый мужественный человек, в конце концов, будет охвачен ужасом; когда же он выпится и отрезвится, он снова становится самим собою.

Клиний. О каком напитке, у людей существующем, можем мы, чужестранец, это утверждать?

Афинянин. Ни о каком. Но если бы такое средство откуда-нибудь взялось, разве не было бы оно полезно законодателю для испытания мужества? Мы могли бы в таком случае сказать ему, например, следующее: законодатель, дающий закон критянам или кому другому, не хотел ли бы ты иметь средство испытать своих граждан в их мужестве и трусости?

Клиний. Очевидно, всякий скажет, что хотел бы.

Афинянин. Далее. Чтобы это средство можно было испытать осторожно и без больших опасностей, или же наоборот?

Клиний. И тут всякий согласится, что лучше осторожно.

Афинянин. Не воспользуешься ли ты этим напитком, чтобы, при помощи возбуждения страха и наблюдения, каким

кто оказался во время подобного состояния, принудить человека стать бесстрашным, прибегая к увещаниям, внушениям, почетным поощрениям; покрывая бесчестием того, кто тебя не послушается и не станет во всем таким, каким ты назначил ему быть. Не отпустишь ли ты беспрепятственно того, кто хорошо и мужественно упражнялся, а тому, кто делал это плохо, не назначишь ли наказания? Или ты совсем не станешь пользоваться таким напитком, хотя нет никаких поводов его порицать?

Клиний. Как же ему не пользоваться этим напитком, чужестранец?

Афинянин. Это было бы, друг мой, чрезвычайно легким испытанием, по сравнению с нынешними гимнастическими упражнениями. Его можно было бы всегда применять к отдельным лицам, к немногим, вообще, к какому угодно числу людей. Если кто-либо, в виду своей стыдливости, считал бы, что не должно показываться, пока не усовершенствуешься, и стал бы наедине упражняться в борьбе со страхом, пользуясь, вместо тысячи других средств, только этим напитком, он поступил бы правильно. Кто доверяет самому себе в убеждении, что он и природой, и своими заботами хорошо подготовлен, тот ничуть не побоится упражняться на виду, совместно с многими соотрапезниками. Он поступит правильно, потому что он преодолеет и победит силу неизбежного действия напитка, ни в чем важном он не будет поколеблен непристойностью и, вследствие своей добродетели, ни в чем не изменится. Но пусть он не доходит до излишества в питье, остерегаясь той победы, какую одерживает этот напиток над всеми людьми.

Клиний. Да, чужестранец, и поступающий так выказал бы свое здравомыслие.

Афинянин. Скажем же снова законодателю вот что: правда, законодатель, ни бог не дал такого зелья для возбуждения страха, ни сами мы не изобрели — ибо здесь нет речи о колдунах на пирах. Но напиток, возбуждающий бесстрашие, чрезмерную отвагу, к тому же несвоевременную, недолжную, существует ли он? Или как мы скажем?

Клиний. Существует, скажет он, имея в виду вино.

Афинянин. И не есть ли этот напиток полная противоположность первому? Сперва он делает человека, который его

плет, снисходительным к самому себе; и, чем больше он его отведывает, тем большими наполняется он надеждами на благо и на свою мнимую силу. В конце же концов, он преисполняется словесной несдержанностью, точно он мудр, преисполняется всяческим своеволием, всяческим бесстрашием, так что, не задумываясь, говорит и совершает, что угодно. С этим, я думаю, согласится всякий.

Клиний. Конечно.

16

Афинянин. Вспомним еще следующее. Мы сказали, что в наших душах должно воспитывать два чувства: первое—чувство чрезмерной отваги, второе, наоборот,—чрезмерного страха.

Клиний. Это то, что ты назвал совестливостью, если мы не ошибаемся.

Афинянин. Вы прекрасно помните. Так как мужество и бесстрашие должно развивать именно среди страха, то, спрашивается, противоположные качества не должно ли воспитывать среди того, что противоположно ему?

Клиний. Очевидно.

Афинянин. Итак, повидимому, в тех состояниях, испытывая которые, мы, по природе, становимся смелыми и отважными, и надо упражняться, как можно менее преисполняясь бесстыдством и отважностью, развивать в себе боязнь совершить, испытать или сказать что-либо позорное.

Клиний. Повидимому.

Афинянин. Так вот все то, что нас делает такими: гнев, любовь, наглость, невежество, корыстолюбие, трусость; кроме того, еще: богатство, красота, сила, все, пьянящее наслаждением и делающее нас безрассудными. Можем ли мы назвать какое другое наслаждение, кроме испытания вином и развлечениями, которое было бы более приспособлено к тому, чтобы произвести сперва только пробу, дешевую и безвредную, всех этих состояний, а затем и чтобы упражняться в них; конечно, при этом необходимы некоторые предосторожности. Обсудим же, как лучше испытать сварливую и вялую душу, из которой проистекают тысячи несправедливостей: путем ли личных с нею сно-

шений, при чем нам будет грозить опасность, или же путем наблюдений на Дионисическом празднестве? Чтобы испытать душу человека, побеждаемого любовными наслаждениями, вверим ли мы ему собственных дочерей, сыновей и жен, подвергая опасности самые дорогие для нас существа только для рассмотрения характера его души? Приводя тысячи подобных примеров, можно было бы говорить бесконечно в пользу того, насколько лучше это безвредное и неубыточное распознавание во время развлечений. Мы полагаем, ни критяне, ни другой кто не могут сомневаться, что это весьма приличный способ испытывать друг друга. К тому же он превосходит остальные способы испытаний своей дешевизною, безопасностью и быстротою.

Клиний. Это верно.

Афинянин. Распознавание же природы и свойств душ было бы одним из самых полезных средств для того искусства, которое о них печется. А это, мы признаём, я полагаю, относится к искусству государственного правления. Не так ли?

Клиний. Конечно.
